

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь,
И горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

А.С.Пушкин

Сто лет назад он считался вульгарным. В гимназиях такое чтение не поощряли – его стихи казались чересчур фривольными. Это все серебряный век придумал, что Пушкин – главный. Они играли с временем как с игрушкой, играли в слова, и тот почти случайно очутился на вершине. Не потому что к ней принадлежал, а потому что искали идеалов, и подвернулся – он.

«Колеблемый треножник». Эту статью Ходасевича я всегда пропускала. Очень вязкий текст, читать тяжело. Такое ощущение, что никак он не шел, а написать надо было непременно – что двадцать первым страшным российским годом объясняется вполне. Там звучит такая мучительная жажда опоры – как будто падающий в темноте, с обвалом, рукой искал ухватиться – неважно, за что. Их всех душило ощущение предсмертья, конца времен и гибели культуры. Это носилось в воздухе, вместе с запахом гари.

– Нам даже трудно вообразить теперь, на что поднимется радостно разрушающая рука наших потомков, – писал тогда Блок.

Вот это передалось: ожидание казней. И это, конечно, был сильный мотив: нужен был какой-то общий для всех и разрешенный Советами символ культуры, к которой они принадлежали, и которая так безвозвратно рассыпалась в прах. Вот тогда Пушкин и стал священным знаком: им было не до критических разборов и оценки художественной значимости. А потом грядущий хам наступил, и серебряный век смахнули со стола как старый мусор. А имя осталось – облепленное мокрой шелухой, в которой он выступает то праведником, то революционером, то запредельным поэтическим гением.

Личность автора влияет на тонкость слуха. На остроту взгляда. Читателю нет до этой личности дела, однако ценность того, что художник способен сказать, от его человеческой природы зависит напрямую. Но в данном случае судить мы не имеем права, потому что Пушкин – это икона. К нему невозможно прикоснуться без лакейского восторга. Все, что он делал, априорно гениально, а биография его априорно безупречна.

Он, который не задумываясь, топтал чужие жизни ради сиюминутной телесной прихоти, кто унижал тех, кто находился ниже по социальному статусу потому только, что ему не могли дать отпор, кто составлял ничтожные реестрики своих постельных побед (ах, как нам важно теперь разобраться – с кем именно,

когда и сколько раз) и по-холопски хамил своему покровителю, говорит – говорит не столько о Пушкине, сколько о нас, которые его себе в герои выбрали. Потому что если ты кормишься с царского стола, то кушай молча, а если ты числишь себя вольнодумцем, то не надо быть прихлебателем: это низко.

Его человеческая индивидуальность то и дело оказывалась несоразмерной дару: это проклятье русской культуры, которое повторяется из рода в род – уж сколько поколений?

Он вел себя с женщинами... как низкорожденный, вот это убийственно. Может быть, это было приметой времени? Отсутствие чувства чести не может быть приметой времени.

Он ни разу не стрелялся из-за женщин, не дорожил их репутацией и никогда не защищал. Был откровенно раздражен, узнав о смертельной болезни одной из своих одесских интимных связей, ввиду необходимости искать новую любовницу.

Часто вызывал на дуэли близких друзей – ему казалось, что его не ценят. Однажды – отца тринадцатилетней девочки из валахской деревни, за которой А.С. волочился: мать имела дерзость его обругать, и Пушкин вызвал мужа. Еще бы – честь задета. Его кишиневские ревности составляют вопиющий пример высокопоставленного хамства; есть и другие.

Осиповы-Вульф, к которым Пушкин имел обыкновение влезать через окно девичьей, в своих записках вспоминали, как он учил их варить пунш. Официальная пушкинистика утверждает, что хозяева усадьбы были снисходительны к шаловливому родственнику, поскольку ценили его поэтический гений. Гений-то оно гений, да только ведь Вульфы были скромными провинциальными помещиками, тогда как Пушкин был обласканный властями царский фаворит и любитель топтать тех, кто находился ниже по социальному статусу.

Он совершал низости, потому что верил в свою исключительность. Знакомый священник называл такое духовной распущенностью. Тут много общего с его предком Ганнибалом, взлетевшим головокружительно – из грязи в князи, – да князем-то не ставшим. Честь нельзя пожаловать в награду: она приобретается с рождением.

Жандармы, о которых так любили повздыхать советские пушкиноведы, – были приставлены к поэту не для надзора за пламенным революционером, а с тем, чтобы оберегать шалуна от неприятностей, в которые тот лез с настырным упорством. Он действительно значился в списке неблагонадежных, но не из-за вольнодумства, как твердили нам в школе, – а из-за вздорности характера, мелочного самолюбия и склонности к беспрчинной агрессии.

Его большой и бесконтрольной страстью были карты, и денег он в игре спускал немерено. Именно эта возрастающая нужда в средствах, собственно, и служила для Пушкина основным творческим стимулом.

Вот откуда у нас появился такой монумент поэтического слова, как «Евгений Онегин» – вешь, в художественном отношении весьма посредственная, зато уж длинная... Платили-то построчно. Знаменитая фраза насчет сукиного сына-молодца как раз и запечатлела бесхитростную радость ловкого добытчика. Куда

там до поэзии. А энциклопедией русской жизни это произведение сделал Лотман, чей комментарий по содержательности далеко превзошел первоисточник.

Его отношение к тем, кто содержал его, и от кого он зависел, было холопским. К тому, кто, собственно, поднял и сохранил его, для наступающего времени. Признательность не значится в числе русских добродетелей, и, может быть, так знаменит он теперь – поэтому? Он так же подл, как мы?

Пять тысяч рублей – это пара деревень с крестьянами. Двадцать пять рублей в строку платили за Евгения Онегина. Для сравнения: годовой крестьянский оброк составлял десять-четырнадцать рублей с души. За год! Платил Николай Павлович Романов. Он был пушкинским основным заказчиком. Он начал эту традицию – платить гонорары писателям. У этого мракобеса и душителя свобод была просветительская мечта: создать русскую литературу. И он начал содержать Пушкина по-царски: пиши. Это его благодарный поэт назвал потом спесивым щеголем. Тот простил. Император считал, что литература – выше.

Это он выплатил все пушкинские долги, посмертно. Конечно, дело было во вдове – как не обмазать грязью сторону дающую, это так по-пушкински.

В нем была поэзия. Он знал это пламя. Потому и не хотел больше жить, когда понял, что оно угасает. И у него хватило честности, чтобы признать – он исписался. А деньги были нужны постоянно, и выхода не виделось. И тут подвернулся Данtes.

Дело не в том, что Пушкин плохой поэт. У него бывали хорошие стихи, и у него замечательная проза. Тем не менее считать его воплощением поэтического совершенства, после серебряного века, неправомерно: границы нашей речи сделались с тех пор неизмеримо шире. Однако художественные достоинства пушкинских произведений, равно как и неблаговидные обстоятельства его биографии, сейчас обсуждать не принято. Оценки здесь расставлены однажды и навсегда. Неважно, что они устарели. Вот это нежелание разбираться в предмете приводит, в конечном счете, к отсутствию хорошей литературы. Ей неоткуда взяться, потому что искать собственное отношение к признанной святыне не принято. Пушкин – наша хоругвь. Нам же главное чтоб людей не стыдно. Чтоб не хуже других. Нужен ведь шекспир. Кому?

Он за падение заплатил, к несчастью: стихи ушли. А мы – остались.